

Александр Ивинский

## Муравьев как *римлянин*: к вопросу о литературной позиции писателя (по материалам писем к отцу и сестре)

Murav'ev as an Ancient Roman citizen: Towards the Study of Murav'ev's Worldview as Expressed in His Letters to His Father and His Sister.

The article examines M.N. Murav'ev's self-representation in his works. It demonstrates how Murav'ev's worldview was shaped by his constant desire to present himself as an honest man (*honnête homme*). His model of behaviour was influenced by the cultural developments of his epoch; it was oriented both towards the past and the future. In Murav'ev's view, the image of an honest man was comparable to the notion of Ancient Roman citizenship, comprising good manners, politeness, and dedication to the Roman Empire. The article examines the manifestation of Murav'ev's model of behaviour in his unpublished letters, located in the archive of the State Museum of History in Moscow.

Литературное наследие и биография М.Н. Муравьева последние годы часто привлекали внимание исследователей. Относительно недавно А.Л. Зорин предложил новую их интерпретацию. Ученый проанализировал письма писателя к жене 1797 года, которые хранятся в ГАРФ, и выдержки из т.н. *Московского журнала*, которые привел М. Осоргин (Зорин 2016: 14). Обсуждая внутренний мир Муравьева, исследователь пришел к выводу о его противоречивости: чиновник должен был стремиться к карьере, а *сенти-*

*менталист* – к внутренней гармонии:

Сложность психологического рисунка [...] определялась [...] принадлежностью к двум эмоциональным сообществам, диктовавшим ему противоречивые нормы чувств. Требования, основывавшиеся на словесном кодексе чести и писаных и неписаных правилах государственной службы, расходились с нормами, предлагавшимися в произведениях значимых для него

западноевропейских авторов [...] Интериоризация этой ценностной системы делала карьерную неудачу для служащего дворянина психологически непереносимой, лишала его самоуважения, а его жизнь – смысла. [...] Таким образом, “социальное” эмоциональное сообщество, в котором жил Михаил Никитич, было национально и словно ограниченным, а “текстуальное”, сложившееся вокруг авторитетных для него литературных образцов, – всецело космополитичным. Письма, сохранившиеся в конволюте ГАРФа, демонстрируют напряжение между этими полюсами (Зорин 2016: 117–119).

Следующее поколение, по мнению А.Л. Зорина, обрело внутреннюю цельность, перейдя “от эмоционального режима, допускавшего сегментацию внутренней жизни человека, к императиву единства его внутреннего устройства”:

Несовместимость внутренних принципов и убеждений с долгом

службы стала одной из причин, приведших Никиту Михайловича Муравьева и его младшего брата Александра в ряды заговорщиков. На противоположном конце политического спектра ученик Муравьева-старшего император Александр I так и не сумел примирить обязанности и права самодержца с сентиментальными упованиями, внушенными наставниками (Зорин 2016: 124).

И если фраза К.Н. Батюшкова “живи, как пишешь, пиши, как живешь” “стала символом веры для поколений русских романтиков”, то Муравьев “писал, чувствовал и жил по-разному” (Зорин 2016: 124).

Итак, *Муравьев-чиновник* противопоставлен *Муравьеву-писателю*, а “сентименталист” – романтикам<sup>1</sup>.

Данная версия, как нам кажется, может быть дополнена<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> См. также: (Schönle, Zorin 2018: 156–158).

<sup>2</sup> Но вряд ли отброшена как заведомо несостоятельная: противоречие, о котором говорит А.Л. Зорин, как некоторая психологическая тенденция вполне различима у самых разных поэтов и в разные времена, и

Во-первых, вопрос самоидентификации Муравьева интересно рассмотреть в широком контексте всего эпистолярного наследия, к изучению которого обращались многие ученые (Майков 1867; Кашин 1925: 241–243; Кулакова 1939; Кулакова, Западов 1980; Лазарчук 1969; Лазарчук 1971; Лазарчук 1972; Кулакова 1976; Фоменко 1980; Teteni 1983; Фоменко 1984; Росси 1994; Топоров 2007; Лаппо-Данилевский 2013 и др.). Оно же, как известно, не ограничивается “Московским журналом” или “коронационными письмами” к жене 1797 г. В Отделе письменных источников Государственного исторического музея хранится корпус писем М.Н. Муравьева к родственникам: к отцу Н.А. и сестре Ф.Н. Муравьевым 1776–1779, 1781–1787 (более 270 листов), а также к Ф.Н. и ее мужу С.М. Лунину 1781–1790 гг. (около 300 листов)<sup>3</sup>. Только часть из этих многочисленных материалов введена в научный оборот (Ивинский 2018а: 171–191; Ивинский 2018б: 193–247). Приведем несколько показательных, с нашей точки зрения, примеров. Начнем с

письма Муравьева к отцу от 17 июля 1778 г.:

Вы изволите писать, что была великая перемена; но сколько я знаю она была только при дворе. А там все управляется по некоторым ветрам вдруг востающим и утихающим также. Любимец становится вельможей: за ним толпа подчиненных вельможей ползает: его родня, его приятели, его заимодавцы. Все мы теперь находим в них достоинства и разум которых никогда не видали. Честной человек, которой не может быть льстецом или хвастуном, проживет в неизвестности. Для него же лучше, если только бы жестокая бедность, навлекающая ему презрение от невежд, еслиб бедность не отягощала его чувствительного сердца. Может быть откроются глаза мои и буду я раскаиваться, что я теперь ни очень не стараюсь; но до сих пор состояние мое не имеет ничего несносного. Правда, что это позорище переменится, если я должен буду помышлять о своем

---

весь вопрос заключается в том, является ли она доминантной.

<sup>3</sup> ОПИ ГИМ, ф. 445, ед. хр. 48–49, 50–55.

пропитании. Но какими способами найти случаи, которые никогда не представляются?... (Письма 1778–1779: л. 46 об)<sup>4</sup>

Ламентации на несправедливости придворной жизни, в которой честный человек не находит себе места, вроде бы говорят о *чувствительности* молодого писателя. Однако не будем спешить с выводами и обратимся к другому тексту. Вот отрывок из письма Муравьева от 14 августа 1778 г.:

Руссо говорит по крайней мере, что из драгоценного нашего времени не должны мы ничего утратить, в чем бы не можно было дать отчету отечеству, друзьям и

несчастливым. Имею ль я скольконибудь времени, которое принадлежало бы мне одному без изъятия и в котором бы не должен я был вам отвечать. А однако ж трачу я его так безрассудно и своевольно! Сколько минут жизни пройдёт прежде нежели одумаешься, что ты их прожил. И я имею смелость произносить моё осуждение однако с тем, чтоб быть вами прощenu. Авосьли буду я иметь ещё довольно твердости, чтоб стараться исполнить своё нравoучение. Никогда не должно отчаяваться быть полезным. И какая надежда может быть прелестнее, как сия самая; хотя бы она и была только мечтою!... (Письма 1778–1779: л. 42–42об)

<sup>4</sup> Ориентируясь на знаменитые *Правила издания исторических документов в СССР* (Москва 1990), мы отказались от передачи некоторых букв (ерь, ерь, фита и др.), но сохранили основные особенности орфографии и пунктуации XVIII в.: формы множественного числа на -ья, -ия; устаревшие написания вроде: «естыли» и «естыли» (такого рода варианты не унифицировались), «сево дни», «щастье» и т. п.; приставки, оканчивающиеся на «з» в позиции перед глухим согласным и др. Предположительные прочтения и дописанные части сокращенных слов заключены в угловые скобки.

Этот отрывок, казалось бы, идеально ложится в парадигму *Муравьев-сентименталист*: ссылка на Руссо, дидактические рассуждения о полезном времяпрепровождении, чувствительность, приправленная масонскими рассуждениями о *vanitas* в духе Хераскова, с которым он в это время тесно

общался. Тем не менее, такая трактовка будет упрощением, ведь Муравьев на самом деле был далек от идеала сентиментального героя. Большую часть своего времени он посвящал выстраиванию отношений с родственниками и столичными сановниками, параллельно решая многочисленные проблемы отца.

Приведем еще один небольшой фрагмент из письма от 2 октября 1778 г.:

Я повергаюсь во всем вашему осуждению, выключая того, чтоб я медлил исполнением приказаний ваших из небрежения. Легкомыслие, непостоянность, упражнение в пустоте, послушание другим, вот источник всего того. Но позвольте мне сказать, что я не вижу причины унижения в том, что Полторацкие будут офицеры. Достойнее меня носят платье моё. И пожалование в офицеры не есть знак отличия. Я сам буду в своё время не иметь другого достоинства кроме череды. И что такое достоинство? Ушаков за него не жалован. Так оно должно быть, чтонибудь весьма

презрительное. По Ате-статам у нас не жалуют (Письма 1778–1779: л. 140б).

О чем эти три фрагмента? Это констатация вечных несовершенств жизни? Да, но не только. Очевидно, это не те вопросы, которые Муравьев мог бы обсуждать с отцом – опытным чиновником и карьеристом, который постоянно использовал сына для того, чтобы получить продвижение по службе. Эти три пассажа, как нам представляется, говорят о принципиальном неприятии Муравьевым того, что он *слишком медленно* продвигается по службе. Служить он хочет, и более того, хочет быть замеченным. Это один из лейтмотивов, который пройдет через его письма 1770–1790 гг. Муравьев как тонкий человек и писатель, разумеется, видит все несовершенства придворной жизни, но он никогда не противопоставлял себя этому миру, напротив, он чувствовал себя его неотъемлемой частью.

Приведем характерную иллюстрацию из писем Муравьева С.М. и Ф.Н. Луниным 1791 г. Муравьев в это время был воспитателем великих князей Александра и Константина Павловичей, был близок ко

двору, службой его, очевидно, были удовлетворены. В первом же письме этого года от 2 января он сообщал родственникам о получении чина полковника. Более того, Муравьев неоднократно возвращался к этой теме – по крайней мере, четыре раза в письмах он назовет себя полковником. Очевидно, для него это чрезвычайно важно, он был по своему и амбициозен, и самолюбив:

Любезной друг и брат Сергей Михайлович и матушка сестрица Федосья Никитична. Поздравляю вас с наступлением нового года и с Полковником<sup>5</sup>; хотя и не водится поздравлять с самим собой. Но я ничего такого не знаю, чтоб могло вас обрадовать более, как приятное произшествие, со мною приключившееся. Граф Николай Иванович<sup>6</sup> представлял о Торсуко-

ве<sup>7</sup> и обо мне и наши чины вышли вместе с докладами и другими переменами, которые обыкновенно делают новый год радостным (Письма 1791: л.2).

8 января Муравьев снова писал об этом:

Музыка, стихи Аглинские, благотворительность, благоговение, здоровье, воспоминание друзей своих суть разные виды существования и счастья. Полковник, позвольте насладиться мне сим незаслуженным прозвищем, ездил сегодня на своём гнедом коне к Ханыкову<sup>8</sup>, которого старая дружба производит мне всегда новые наслаждения. Он вам кланяется (Письма 1791: л. 4).

См. также письмо от 17 апреля 1791 г.:

<sup>5</sup> В 1791 г. М.Н. Муравьев получил звание полковника.

<sup>6</sup> Н.И. Салтыков (1736–1816) – русский государственный деятель, официальный воспитатель великих князей Александра и Константина Павловичей.

<sup>7</sup> А.А. Торсуков (1754–1810) – военный и государственный деятель.

<sup>8</sup> В.В. Ханыков (1759–1829) – русский военачальник и дипломат, ближайший друг М.Н. Муравьева. В 1788–1790 гг. участвовал в русско-шведской войне.

Ни Марс, ни Гименей ничего не знают ещё о некотором Полковнике, которой право вас всею душою любит, желает вам всякаго благополучия, просит поцаловать всю фамилию (Письма 1791: л. 24).

Впрочем, это совершенно не мешало ему относиться к этому с изрядной долей иронии, см. письмо от 5 июня 1791:

Полковник без полку, чтец Дон Кишота по Ишпански, ето новое дурачество, без дела, здоров, охотник до холодной бани, ездок на гнедом, пешеход неутомимой: ежелибы сердце мое было более чувствительно, разум немножко деятельнее и приятнее...Но совершенство не дано человечеству. Я щастлив ежели со всеми худобами моими любим вами, сохраняя дружбу вашу. Прощайте (Письма 1791: л. 36).

*Чувствительность* здесь, как часто бывало в письмах Муравьева, сливалась с *карьеризмом*. Да, он полковник без полку, он не герой войны, предположим – о чем он, кста-

ти, не раз сожалел в своих письмах – но все же полковник. Совершенство человечеству не дано, а чин все же получить можно.

Возникает новый вопрос: может быть, Муравьев действительно сознавал определенную *двузначность* своего мировоззрения? Как кажется, дело обстояло прямо противоположным образом.

Как все понимают, Муравьев не мог предугадать, что исследователи ХХ в. запишут его в “сентименталисты”, а затем то, что не будет соответствовать предложенной схеме, объявят “противоречием”. Между тем, “роли” литератора, офицера, дворянина никогда не были противопоставлены друг другу, они, сложно взаимодействуя, формировали идентичность европейского светского человека. Муравьев прекрасно отдавал себе в этом отчет и писал об этом прямо. Так, одна из наиболее показательных иллюстраций – статья *Благородство*. В ней Муравьев говорил о том европейском контексте, который был понятен любому дворянину XVIII в.: о монархии и благородстве, о чести и учтивости:

Состояние, которое во всех Европейских Монархиях отличается под

именем благородного и дворянского, почти везде имеет одинакие права, получило происхождение свое от войны и покорения, почитается необходимым в монархическом составлении и отличается особливою разборчивостию чести, не терпящею порицания и подлости. Сие предрассуждение кажется быть остатком Рыцарских нравов, которые долго царствовали в средних веках Европы и заменяли некоторым образом недостаток законов в сии времена безначалия и грабительства. Учтивость или знаменитость происхождения означается Европейским именем дворянина (*gentilhomme*) (Муравьев 1820: 205).

При этом, с точки зрения Муравьева, русского дворянина отличала глубинная связь с двором и монархом, честный человек в России — это “чиновник”:

В Российском слове дворянина ясно представляется, кажется, чиновник, приверженный ко Двору и особе Государя. Все

дворянство представляет некоторым образом последование Государя, который видел в нем готовые орудия правления, по встречающимся надобностям в войне и мире. Хотя достоинство сие и было наследственно, ничто не мешало ревности, дарованиям, и заслугам снискивать возвышение сие и приближаться в звании сем к престолу (Муравьев 1820: 205–206).

Таким образом, русский дворянин по определению “офицер”, его жизнь немислима вне двора и помимо двора:

Особливо Государь ПЕТР Великий распространил право сие в пользу заслуг и объявил дворянство присоединенное ко званию Офицера. С тех пор чины военные стали общею мерою благородства и гражданская служба должна была сравниваться с военною, потому что она не доставляла несущим ее тех же выгод (Муравьев 1820: 206).

Однако наиболее афористично свой идеал Муравьев опи-



сал в статье *О Репнине*. “Гражданин и вельможа” — вот его кредо. Это человек, искусно сочетающий достоинства офицера и светского человека:

Есть род душ возвышенных, которые пренебрегают спокойство праздной жизни и удовольствия роскоши и неги, которые не чувствуют никаких других наслаждений кроме тех, кои дарует нам любовь к Отечеству, сознание произведенного блага и ожидающая слава.

Таков был славной соотечественник наш Фельдмаршал Князь Николай Васильевич Репнин. Искусной полководец, важной и остроумной негоциатор, прозорливой градоправитель, человек равно сияющий при Дворе вежливостью и тонким знанием общества, как в советах мудростию и беспристрастием, наипаче отличался он разборчивым чувствованием чести и любовью к Отечеству, гражданин и вельможа, иногда несчастлив на войне, иногда увлечен пылкостью нрава, но всегда тверд, всегда го-

тов всем жертвовать долгу службы, даже до собственной гордости, которую извиняло толикое множество заслуг. Он был живой образец благородства, добродетели, бескорыстия, великодушия и безусловной ревности. Таков был бы Аристид, ежели бы он родился в России (Муравьев 1820: 223–224).

Итак, у нас нет фактов, которые бы подтверждали предположение о том, что Муравьев переживал глубокий кризис идентичности, напротив, кажется, он выстраивал свою жизненную и творческую стратегию, ориентируясь на французские, по преимуществу, модели светского поведения.

При этом своеобразным ключом к пониманию муравьевской концепции оказывается упоминание в статье *О Репнине* Аристида. Античные образы, мотивы, поэты и исторические деятели многократно упоминались и в статьях, и в письмах, и в произведениях Муравьева. Нам уже доводилось писать о переводах Муравьева из древних авторов (Ивинский 2020). Кроме того, мы уже делились сомнениями в продуктивности интерпре-

тации его наследия исключительно и только в сентименталистском ключе (Ивинский 2019). К уже использованным аргументам мы хотели бы добавить новые.

Античное наследие никогда не было маркером исключительно т.н. “классицизма”: древнегреческая и римская литература и история были фундаментом образования и самоидентификации европейского аристократа Нового времени. Более того, сама модель *honnête homme* восходит к античным образцам. Этому вопросу посвящена обширная исследовательская литература, мы ограничимся только несколькими цитатами. Так, например, Е. Бury связал новый тип социальности эпохи модерна с наследием Цицерона:

L'invention d'une nouvelle sociabilité à l'époque moderne n'a jamais caché ses sources antiques. Bien au contraire, l'établissement d'une sphère de vie profane, telle qu'elle a été réalisée par les Renaissances européennes, a le plus souvent fait appel aux modèles antérieurs à la société chrétienne, posés comme lieux idéaux d'une vie mondaine où comp-

tent, au premier chef, les rapports entre les hommes. A ce titre, Cicéron fait figure de premier grand théoricien de la *vita civile*, qui situe la vie de l'homme dans et pour la cité humaine. [...] La réévaluation récente de la place de Cicéron dans les querelles esthétiques de la république des Lettres aux XVIe et XVIIe siècles nous montre bien que le grand orateur n'avait jamais quitté l'horizon intellectuel des milieux qui, érudits ou mondains, élaborèrent l'idéal de *l'honnêteté*. [...] Maurice Magendie notait rapidement cette polyphonie des sources théoriques [...] en prenant bien soin de rappeler qu'on a pu, par exemple, relire Castiglione au XVIIe siècle à la lumière des théoriciens antiques. De fait, l'importance réelle du « socle » néo-latin, qui fonde toute culture jusqu'à une époque avancée du XVIIe siècle, a toujours contraint les théoriciens, même parmi les plus « mondains », à garder à l'esprit la référence latine, et tout particulièrement Cicéron (Bury 1993:19–20).

Об этом же, по сути, рассуждал и М. Фумароли:

Avec le succès de l'humanisme, la rhétorique au sens cicéronien du terme, c'est-à-dire l'articulation de tout savoir et de toute vertu à une parole qui les rendent opérantes dans la société, devient le principe unifiant de la culture (Fumaroli 2002: 42).

Кроме того, напомним мысль Д. Стентон о том, что "*honnêteté* must be traced to the Renaissance and ultimately to Greece and Rome [...]" (Stanton 1980: 11).

И далее:

The quintessential prototype for the *honnête homme* was the Greek philosopher, the incarnation of virtue [...] of the golden mean, and the source of such fundamental notions as human sociability [...] seventeenth-century writers referred casually to "that Roman urbanity" as if all Latin antiquity had prized this virtue uniformly (Stanton 1980: 14–15).

Мы без труда могли бы привести еще десятки ссылок (см. в

первую очередь фундаментальную монографию Viala 2008), но в нашу задачу не входит подробное историографическое рассмотрение данной проблемы.

Муравьев, обращаясь к античным сюжетам, решал как минимум две задачи.

С одной стороны, вологодский и тверской "провинциал", он должен был влиться в сложный мир столичной аристократии. Муравьев понимал, что репутация "выскочки" может разрушить карьеру, поэтому он видел в изучении культуры средство для преодоления "пропасти", отделявшей Санкт-Петербург от России. В этом смысле показательны письма Муравьева второй половины 1770-х гг., которые были буквально наполнены древними именами и реалиями. Ограничимся двумя примерами. Вот письмо от 21 января 1776 г.: "Впрочем я о себе объявляю, что я слава богу, здоров и нахожу приятное упражнение, в чтении Горация особливо: так что и Тараска применился, когда я спрошу маленькую белую книшку" (Письма 1776а: л. 14об). См. также письмо от 12 декабря 1776 г.:

Третьягодня был я в нашем собрании, и чи-

тал кое-что: Антон Алексеевич расписывал Материю, которая вместить должно, в четвертом томе Трудов общества. Моего тут будет напечатано, переводы и изтолкование несколько Од из Горация, Епистола о счастье, перевод из Прозаических Клейстовых записок. А может быть еще маленькой Трактат о различиях слога высокого, великолепного, величественного, громкого и надутаго, которой я читал в собрании, и которой, ежели печатать, так еще пересмотреть надобно. Вот о каких важностях пишу я к вам, батюшко что может быть вам и читать скучно. Я не знаю здесь ничего новенкаго и достойнаго уведомления. Я был в Университетской библиотеке, откуда и взял Гомерову греческую с Латинским переводом Иллиаду, Гезиода и Феокрита. Суббиблиотекарь, мой бывший учитель и нынешний профессор Чеботарев и Секретарь общества, до меня очень ласков и подарил мне Российскую Географию (Письма 1776б: л. 16).

С другой стороны, Муравьев никогда не был тем, кто не критично воспроизводил те или иные схемы, он полагал, что *французскую теорию* можно и нужно не только изучать, но и модифицировать. В этой точке он претендовал на роль идеолога, человека, который формулирует смыслы. Своеобразной ролевой моделью для Муравьева мог быть Ф. Фенелон, писатель, философ и воспитатель внука Людовика XIV, герцога Бургундского. Параллели здесь самоочевидны: Муравьев был учителем внуков Екатерины II. В этом смысле чрезвычайно показательна его статья *Воспитание*: “Благородная душа в самом младенчестве открывает некоторые лучи будущего своего сияния. Какую славу оставил по себе Герцог Бургонской, воспитанник Фенелонов [...]” (Муравьев 1820: 200).

При этом, формулируя свои идеи, Муравьев явно учитывал культурный проект Екатерины II. Для него античность – ключевая часть модели, но далеко не единственная. В статье *Успехи человеческого разума* Муравьев, не претендуя на какую-то оригинальность, показал в очередной раз, как сложное взаимодействие Гре-

ции и Рима привело к формированию изящной словесности и культуры вежливости:

Греки сохраняют над покорителями своими свое влияние, которое дает превосходство просвещения. Их Философия и писмена распространяются по вселенной с оружием Римлян. Во время Августово человеческий разум достигал вторично высоты своего совершенства. Знаменуют то изящные творения во всех родах, и всеобщая вежливость, влияющая в народы за столпами Геркулесовыми и далее Дуная (Муравьев 1820: 181).

Далее – вполне в соответствии с традиционными представлениями своего времени – Муравьев рассказал о падении Рима и о возрождении подлинной культуры в Новое время, этот процесс он связал с “открытием” Вергилия: “Писания великих творцов Августова века были извлечены из праха, в котором сокрывались оные, и Петрарк с благоговением читал Вергилия” (Муравьев 1820: 183).

Если здесь Муравьев воспроизводил общие места европейской историографии, про-

черчивая более или менее очевидную линию от Античности к современной Франции, то, обращаясь к русскому материалу, он явно отходил от прямолинейных трактовок. Муравьев не был готов видеть в России ученицу и подражательницу Франции или Италии.

Россия занимала особое место в истории просвещения благодаря посреднической роли Византии. Из этого делался вывод, что Русь уже в Средние века до некоторой степени приобщилась к подлинной культуре. Об этом Муравьев писал в уже упоминавшейся статье *Воспитание*:

Карл Великий основывает Академию в собственных чертогах своих и как член оной старается об исправлении языка своего. Россия никогда не была чужда письмен, по причине сообщения своего с Грециею (Муравьев 1820: 202).

Следовательно, Франция – пусть важный, но не единственный источник русского просвещения, скорее, правильнее говорить о локальной роли Парижа или Рима в сложном процессе усвоения и переосмысления базовых кон-

цептов западной культуры. В этой точке Муравьев прямо смыкается с екатерининским культурным проектом – и с ее историческими и лингвистическими трудами (Ивинский 2016а, Ивинский 2016б).

Но ведь и Греция когда-то должна была пройти определенный путь и усвоить знания, это всегда сложный, длительный и наполненный драматизмом процесс, который лишь *post factum* мог казаться легким и естественным. В статье *Рождение письмен* Муравьев предложил классическую трактовку *translatio studii*:

Греция одолжена основанием первых обществ своих переселенцам из Египта. [...] Кадам принес азбуку в Грецию. Страна сия, навсегда любопытная для человеческого разума, чувствительно изникала из дикости, по мере как превосходные люди, прославленные ею под именем Героев, Орфеи, Амфионы, Лины, Мусеи, сообщали народу, посредством сладостных стихов, величественные понятия добродетели и мудрости. Первые мудрецы и богословы Еллинские были стихотворцы. Воображение

было обольщаемо прежде, нежели убеждаемо разум. Мудрецы замыкали в кратких стихах правила нравоучения. Притчи, иносказания, которых изобретатель Езоп известен позднему попомству, сокрывали полезные истинны под видом вымысла. Греция ознаменовывает себя между тем блестящими предприятими. Поход Аргонавтов и еще более война Троянская возвеличивает дух общественной. Восстает бессмертный разум Гомеров, коего слава умножается своею древностию. Гезиод, современатель его, дает наставления земледелию. Является в Афинах великое позорище Трагедии. Целый народ, самый просвещеннейший в Греции, приходит поучаться мудрости в творениях Эсхила, Софокла и Эврипида (Муравьев 1820: 177–179).

Но если даже Греция когда-то училась у Египта, то и Россия – по крайней мере в теории – способна пройти похожий путь. Бросаются в глаза рассуждения Муравьева об особой роли поэтов, которые раз-

вивают общество и приводят государство к заслуженной славе.

Таким образом, *translatio studii* оказывается инструментом *translatio imperii*, или, иначе говоря, последнее оборачивалось следствием первого. Упрощая, Греция становилась символом культуры, а Рим — империи. Только соединив оба идеала, “русские Аристиды” могли построить, — под мудрым руководством монарха, разумеется, — новую страну. В этой точке сходятся ключевые идеи Муравьева: *honnête homme* и чиновник, гражданин и вельможа, *savoir vivre* и античная поэзия — это составляющие одной роли. И Муравьев явно стремился содействовать этому процессу, став человеком, который мог своими трудами продвинуть империю по пути культурного развития.

Здесь кажется необходимым еще одно замечание: советское литературоведение не без оснований, но, может быть, слишком настойчиво связывало римскую тему с *декабризмом*; см., напр., хрестоматийно известное замечание Ю.М. Лотмана: “Подчеркнутая не светскость и ‘бестактность’ речевого поведения определялась в близких к декабристам кругах как ‘спартанское’ или

‘римское’ поведение. Оно противопоставлялось отрицательно оцениваемому ‘французскому’” (Лотман 1994: 335). Проблема в том, что к нарочитой брутальности и демонстративной серьезности “римское поведение” отнюдь не сводилось. В этом же ключе ученый интерпретировал поведение молодого Н.М. Муравьева:

Маленький Никитушка, будущий декабрист, на детском вечере стоит и не танцует, и, когда мать спрашивает у него о причине, мальчик осведомляется (по-французски): “Матушка, разве Аристид и Катон танцевали?” Мать на это ему отвечает, также по-французски: “Надо полагать, что танцевали, будучи в твоём возрасте”. И только после этого Никитушка идет танцевать. Он еще не научился многому, но он уже знает, что будет героем, как древний римлянин (Лотман 1994: 63).

Приводя этот пример *строгости* будущего борца, Лотман, кажется, игнорировал тот факт, что перед нами классический анекдот, *bon mot*, ко-

которые преследовали цель вызвать улыбку светской публики. Суровость Аристида или Катона может, а в некоторых ситуациях должна быть на время забыта.

Также часто вспоминали реплику К.Н. Батюшкова, воспитанника Муравьева, в письме к Е.Ф. Муравьевой, матери все того же Н.М. Муравьева: “Простите, буду писать из Венеции или Флоренции к вам, а к Никите из Рима, ибо он Римлянин душою” (Кошелев 1995: 125–126). С точки зрения В.А. Кошелева, остановившегося на этом эпизоде, данная строчка Батюшкова свидетельствовала о его “ироническом отношении” к молодому человеку (Там же). Как нам представляется, данная фраза может быть понята и буквально: хорошо знавший и отца, и сына, Батюшков выделил одну из ключевых черт их характера: образованность, искреннюю преданность культуре и, конечно, светскость.

С нашей точки зрения, у нас нет никаких оснований игнорировать это измерение римской темы. Она неразрывно была связана со светскими по-

ведением и культурой. “Честный человек”, а позднее и “денди”, как хорошо известно, ориентировались на Овидия (Taylor 2017: 71–72, 124–131), без Горация и Вергилия были непредставимы образование и воспитание молодого аристократа (Любжин 2007: 53–194; Horace 2017: 318–333). Другой вопрос заключается в том, что понятие «гражданственность» в первой четверти XIX в. могло уже наполняться иным идеологическим содержанием.

В любом случае, античность оказывается ключом к пониманию личности Муравьева. “Римлянин”, если воспользоваться формулой Батюшкова, органично сочетал “светскость” и “имперскость”, образованность и идею службы. При этом сентиментальность и чувствительность никогда принципиально не противоречили этому идеалу, а напротив, естественным образом оказывались его неотъемлемым элементом.



## Сокращения:

ОГИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственного исторического музея

## Архивные материалы:

Письма 1776а: *Муравьев М.Н. Письма к отцу М.А. Муравьеву 1776 г.*, Москва, ОПИ ГИМ, ф. 445, ед. хр. 48, ч. 74а.

Письма 1776б: *Письма М.Н. Муравьева к отцу Н.А. с приписками к сестре Ф.Н. 1776. Ноябрь-декабрь*, Москва, ОПИ ГИМ, ф. 445, ед. хр. 49, ч. 74б.

Письма 1778–1779: *Письма М.Н. Муравьева к отцу Н.А. Присоединены письма Ф.Н. Муравьевой к нему же. 1778–1779*, Москва, ОПИ ГИМ, ф. 445, ед. 51.

Письма 1791: *Письма М.Н. Муравьева к С.М. Лунину и Ф.Н. Муравьевой 1791 г.*, Москва, ОПИ ГИМ, ф. 445, ед. хр. 55.

## Библиография

Bury 1993: Bury, Emmanuel, 1993. 'Savoir-vivre ou savoir parler. Les ambiguïtés du modèle cicéronien de l'honnêteté' in *L'honnête homme et le dandy*, éd. par Alain Montandon (Tübingen: Gunter Narr Vlg), 19–34.

Horace 2007: Harrison, Stephen (ed.). 2007. *The Cambridge Companion to Horace* (Cambridge: Cambridge University Press).

Fumaroli 2002: Fumaroli, Marc. 2002. *L'âge de l'éloquence: rhétorique et "res literaria" de la Renaissance au seuil de l'époque classique* (Genève: Droz).

Stanton 1980: Stanton, Domna. 1980. *The aristocrat as art: a study of the honnête homme and the dandy in Seventeenth- and Nineteenth-Century French Literature* (New York: Columbia University Press).

Taylor 2017: Taylor, Helena. 2017. *The Lives of Ovid in Seventeenth-Century French Culture* (Oxford: Oxford University Press).

Schönle, Zorin 2018: Schönle, Andreas and Zorin, Andrei (eds.). 2018. *On the Periphery of Europe, 1762–1825: The Self-Invention of the Russian Elite* (DeKalb, IL: Northern Illinois University Press).

Teteni 1983: Teteni M., 1983. 'Письма родным М.Н. Муравьева (1778–1779) и их роль в становлении его литературного творчества' in *Russica*. In memoriam E. Balczyky, ed. by Péter Mihály and Tatár Béla (Budapest: ELTE): 215–231.

Viala 2008: Viala, Alain. 2008. *La France galante: Essai historique sur une catégorie de ses origines jusqu'à la Révolution* (Paris: Presses Universitaires de France).

Зорин 2016: Зорин, Андрей. 2016. *Появление героя: из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX вв.* (Москва: Новое Литературное Обозрение).

Ивинский 2016а: Ивинский, Александр. 2016. 'Екатерина II, М.Н. Муравьев и Карамзин: К вопросу о контекстах Истории государства российского', *Литературоведческий журнал*, 40: 146–167.

Ивинский 2016б: Ивинский, Александр. 2016. 'Екатерина II и "Сравнительные словари всех языков и наречий"', *Русская речь*, 5: 75–81.

Ивинский 2018а: Ивинский, Александр. 2018. 'Из эпистолярного наследия М.Н. Муравьева: письма 1778 года к отцу (по материалам ОПИ ГИМ)', *Новое литературное обозрение*, 6: 171–191.

Ивинский 2018б: Ивинский Александр. 2018. 'Письма М.Н. Муравьева С.М. и Ф.Н. Луниным 1789 г. (по материалам ОПИ ГИМ)', *Autobiografija: Rivista di studi sulla scrittura e sulla rappresentazione del sé nella cultura russa*, 7: 193–247.

Ивинский 2020: Ивинский, Александр. 2020. *М.Н. Муравьев и античные поэты: неопубликованные переводы* (в печати).

Кашин 1925: Кашин Н. 1925. 'Мелочи прошлого. К биографии декабриста М.С. Лунина', *Каторга и ссылка: Историко-революционный вестник*, кн. 18, 5: 241–243.

Кошелев 1995: Кошелев, Вячеслав. 1995. 'К.Н. Батюшков и Муравьевы: К проблеме формирования «декабристского» сознания' в *Новые безделки. Сборник статей к 60-летию В.Э. Вацууро*, под ред. Сергея Панова (Москва: Новое Литературное Обозрение).

Кулакова 1939: Кулакова, Любовь. 1939. 'М.Н. Муравьев', *Ученые записки Ленинградского государственного университета*, 33 (4): 4–42.

Кулакова 1976: Кулакова, Любовь. 1976. 'Н.И. Новиков в письмах М.Н. Муравьева', в *XVIII век*, сб. XI: *Н.И. Новиков и общественно-литературное движение его времени*, под ред. Георгия Макогоненко (Ленинград: Наука), 16–23.

Кулакова, Западов 1980: Кулакова, Любовь и Западов, Владимир. 1980. 'М.Н. Муравьев. Письма', в *Письма русских писателей XVIII века*, под ред. Георгия Макогоненко (Ленинград: Наука), 259–378.

Лазарчук 1969: Лазарчук, Римма. 1969. 'О соотношении эпистолярной практики и художественного творчества М.Н. Муравьева', в *Первая карагандинская конференция молодых учёных. Тезисы и доклады* (Караганда: Изд-во КарагГПИ), 323–324.

Лазарчук 1971: Лазарчук, Римма. 1971. 'М.Н. Муравьев – критик (по материалам переписки поэта)', в *Русская и зарубежная литература* (Алма-Ата: б. и.), 3–8.

Лазарчук 1972: Лазарчук, Римма. 1972. 'Дружеское письмо второй половины XVIII века как явление литературы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук' (Ленинград: б. и.).

Лаппо-Данилевский 2013: Лаппо-Данилевский, Константин. 2013. 'Дружеское литературное письмо: специфика, истоки', в *XVIII век, сб. XXVII: Пути развития русской литературы XVIII века*, отв. ред. Наталья Кочеткова (Санкт-Петербург: Наука), 121–153.

Лотман 1994: Лотман, Юрий. 1994. *Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII–начало XIX века)* (Санкт-Петербург: Искусство – СПб).

Любжин 2007: Любжин, Алексей. 2007. *Римская литература в России в XVIII–начале XX века* (Москва: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина).

Майков 1867: Майков, Леонид. 1867. *О жизни и сочинениях В.И. Майкова: Исследование Л. Майкова* (Санкт-Петербург: Типография И.И. Глазунова).

Муравьев 1820: Муравьев, Михаил. 1820. *Полное собрание сочинений Михаила Никитича Муравьева*, Ч. 3 (Санкт-Петербург: В типографии Российской Академии).

Росси 1994: Росси, Лаура. 1994. 'К вопросу о соотношении эпистолярной и художественной прозы в России в последней четверти XVIII века', *Slavica Tergestina*, 2: 91–115.

Топоров 2007: Топоров, Владимир. 2007. *Из истории русской литературы. Т. 2, кн. 3: Русская литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев: введение в творческое наследие* (Москва: Языки русской культуры).

Фоменко 1980: Фоменко, Ирина. 1980. 'Из прозаического наследия М.Н. Муравьева', в *Русская литература*, 3: 116–130.

Фоменко 1984: Фоменко, Ирина. 1984. 'М.Н. Муравьев и проблема индивидуального стиля', в *На путях к романтизму*, под ред. Фёдора Приймы (Ленинград: Наука), 52–70.